
Историческая память российского общества: к построению агонистической модели

Д.Э. ЛЕТНЯКОВ*

*Денис Эдуардович Летняков – кандидат политических наук, научный сотрудник, Центр теоретической и прикладной политологии, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Москва, Россия, letnyakov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7936-7013>

Цитирование: Летняков Д.Э. (2023) Историческая память российского общества: к построению агонистической модели // Мир России. Т. 32. № 1. С. 109–129. DOI: 10.17323/1811-038X-2023-32-1-109-129

Аннотация

Ключевая идея статьи заключается в том, что проводимая в России политика памяти не соответствует культурной сложности российского общества. В России традиционно доминирует москвоцентричный исторический нарратив, который фактически игнорирует (этно)региональные версии прошлого. Это ставит вопрос о необходимости деколонизации российской исторической памяти, о переосмыслении ее на более инклюзивных основаниях, об отказе от единой канонической истории. В этой связи автор предлагает двигаться в сторону агонистической модели памяти. Ее отличают, с одной стороны, плюрализм – возможность сосуществования в публичной сфере оспаривающих друг друга исторических нарративов, с другой – ориентация на сохранение общего дискурсивного пространства. Последнее обстоятельство не позволяет дебатам по поводу прошлого превратиться в конфликт с нулевой суммой и радикально раскалывать общество.

Ключевые слова: историческая память, политика памяти, агонистический режим памяти, Россия, федерализм, идентичность, культурное многообразие

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Статья поступила в редакцию в мае 2022 г.

Введение

В последние десятилетия в разных странах проявляются тенденции к плюрализации исторической памяти. Это означает, что возможность подключиться к дебатам о прошлом получают те, чей голос ранее не был слышен в публичном пространстве: представители региональных сообществ, этнических и расовых меньшинств, коренных народов, люди с миграционным бэкграундом и т. д. Демократизация политики, легитимация культурных различий внутри национальных государств, активизация региональных идентичностей позволяют сегодня акторам, не принадлежащим к социокультурному мейнстриму, успешно оспаривать доминирующий исторический нарратив и продвигать собственные контр истории (в терминологии М. Фуко). Так, шотландцы, валлийцы и ирландцы всё чаще критикуют британский исторический канон, который фактически ставит знак равенства между историей Англии и историей Соединённого Королевства [Parekh 2000, pp. 17–18]; в США важной частью политики памяти становится обсуждение центральных для чернокожего сообщества тем рабства, колониализма и расовой сегрегации [King 2017]; в Канаде и Австралии официальные лица регулярно приносят извинения за колониальную политику в отношении аборигенного населения; феминистки проблематизируют устоявшееся представление об истории как череде свершений «великих мужчин» [Mayo 1983], а массовые миграции провоцируют в принимающих обществах серьезные дискуссии о необходимости отхода от европо- и националистского исторического образования [Lidher et al. 2020; Soysal, Szaracs 2010]. Возможно, наиболее ярко мемориальные конфликты проявились летом 2020 г. в связи с движением *Black Lives Matter* (BLM), американские активисты которого принадлежали к «историческому» меньшинству в своей стране, а европейские в основном представляли людей с миграционным прошлым. Но в обоих случаях важнейшей составляющей этого движения стала попытка деколонизации исторической памяти через оспаривание европоцентристского канона, воплощенного в монументах, в городской топонимике, в облике публичных пространств.

По тому, как в России освещались события вокруг BLM, было видно, что подавляющее большинство наблюдателей рассматривали их как бесконечно далекие от отечественных реалий, однако с этим можно поспорить. Россия – страна, обладающая высокой степенью культурной неоднородности. Более того, согласно формулировке А. Степана и Х. Линца, она представляет собой «государство-нацию» (*state-nation*), т. е. политику, в которой в отличие от классического *nation-state* признано и институционализировано множество культурных и национальных идентичностей, в результате чего «более чем одна группа рассматривает себя как нацию» [Stepan, Linz 2011, p. xii]. Одной из манифестаций культурной сложности российского общества остается наличие в национальных республиках (и в некоторых «русских» регионах) своих версий прошлого, собственного пантеона героев. Между тем местные контр истории в публичном пространстве современной России практически не слышны: в сфере образования, в концепции музеев и в медиа явно доминирует московоцентричный нарратив, и история России по-прежнему пишется из ее политико-административного центра. Таким образом, российская историческая память также нуждается в деколонизации, в переосмыслении ее на более инклюзивных и плюралистических началах. Этот тезис автор и постарается доказать в данной статье.

Текст будет построен следующим образом. В первой части статьи мы поговорим о том, на каких основаниях строился исторический нарратив в дореволюционный и советский периоды. Особое внимание при этом будет уделено процессу деколонизации истории в 1920–1930-е гг., который был, однако, прерван, поскольку в преддверии войны И.В. Сталин принял решение вернуться к имперскому канону. Во второй части речь пойдет о политике памяти после распада Советского Союза. Сначала мы рассмотрим первое постсоветское десятилетие, когда децентрализация страны и этническая мобилизация на местах привели к активному конструированию партикулярных версий прошлого, слабо связанных с общероссийской памятью. Затем обратимся к периоду после 2000 г., который сопровождался строительством вертикали власти и закономерным установлением в этих условиях гегемонии централистского исторического нарратива. В заключительной части работы будет предложена агонистическая модель исторической памяти для России¹, которая была бы, с одной стороны, плюралистичной по своей сути, с другой – позволила бы различным версиям прошлого не отрицать друг друга, но *сосуществовать* внутри общего пространства памяти.

От империи Романовых до эпохи застоя: деколонизация исторической памяти и возвращение руссоцентричного нарратива

Исторический нарратив дореволюционного периода был проникнут идеей цивилизационной миссии России на ее имперских окраинах. Еще Н.М. Карамзин, почтительно называя Ермака «Героем Сибирским», писал, что его поход за Уральские горы принес России «слав[у] мирного гражданского образования диких народов» [Карамзин 1843, с. 242]; в таком же ключе рассматривается позднее и присоединение Кавказа. Симптоматично, как формулировалась задача многолетнего труда «Утверждение русского владычества на Кавказе», приуроченного к 100-летию вхождения Грузии в состав России (1901). Авторам хотелось «показать: сколько принесено жертв, сколько пролито крови и положено трудов на умиротворение страны, чтобы вывести народы Кавказа на путь широкого развития и благоденствия» [Колосовская, Ткаченко 2020, с. 139]. Соответствующий идеологический посыл транслировался и через топонимику присоединенных окраин, а также с помощью установки монументов, инициированной властями: название центра Приамурского генерал-губернаторства г. Хабаровки (позже Хабаровска), памятники Ермаку в Сибири и П.Д. Цицианову на Кавказе призваны были прославлять людей, покоривших эти территории пусть и силой оружия, но в конечном счете к пользе местного населения. В этом аспекте политика памяти в Российской империи мало чем отличалась от политики памяти в европейских метрополиях. В английских учебниках истории еще в послевоенный

¹ Понятие «агонального» (от греческого – агон, «борьба») закрепилось в современном политико-философском дискурсе благодаря Ш. Муфф, которая обосновала в своих работах агонистическую теорию демократии. На область исторической памяти этот концепт перенесли А. Булл и Х. Хансен, которые предложили понятие «агонистического режима памяти», допускающего множество перспектив, из которых прошлое может оцениваться и интерпретироваться. Соответственно историческая память рассматривается как *поле борьбы* разных акторов вокруг той или иной трактовки истории [Bull, Hansen 2016].

период можно было прочесть фразу о том, что «европейцы принесли цивилизацию народам Африки» [Tomlinson 2015, p. 11]; о высокой миссии Франции в африканских колониях публично рассуждал президент Ш. де Голль [Филиппова, Филиппов 2020, с. 78]. Постепенная ревизия имперской исторической рамки, признание темных сторон европейского колониализма стали предприниматься на Западе лишь в 1960–1970-е гг. При этом особенностью российско-советской ситуации можно назвать тот факт, что в этом случае деколониальный поворот в политике памяти наметился почти на полвека раньше, будучи напрямую связанным с большевистской национальной политикой.

Реагируя на поднявшуюся в ходе революции и Гражданской войны волну национализма, а также желая избежать восприятия Советской России / СССР как очередной реинкарнации Российской империи, большевики с 1920-х гг. начали осуществлять политику систематического спонсирования национальных культур. Конкретно это выражалось в национально-территориальном размежевании страны путем создания целой пирамиды регионов с титульной этнической группой в каждом из них (союзные и автономные республики, автономные округа, национальные районы), в формировании национальных элит (так называемая коренизация), в поддержке разнообразных форм национальной культурной жизни (от помощи в ликвидации безграмотности на родном языке до финансирования театральных постановок, издания газет и книг), в осуществлении позитивной дискриминации по отношению к представителям культурно отсталых национальностей (выделение им квот на поступление в университет). Главным же врагом в этих условиях стал русский национализм («великодержавный шовинизм»), с которым нужно было бороться, чтобы не создавать у «националов» ощущения того, что они по-прежнему живут в «тюрьме народов». Русские, как бывшие эксплуататоры, должны были, по выражению Н.И. Бухарина, «купить себе настоящее доверие прежде угнетенных наций» [Мартин 2011, с. 102]².

Вполне очевидно, что политика поддержки этнического плюрализма и борьбы с «великодержавным шовинизмом» сопровождалась среди прочего существенной ревизией истории. Расхожая ленинская формула о царской России как «тюрьме народов» стала руководящей для переоценки прежнего исторического канона. Произошел отказ от героики русской истории, от прославления имперских завоеваний; вместо нарратива о цивилизаторской миссии России на ее окраинах акцентировались военные захваты последних и их последующее угнетение. Так, в 1935 г. вышел сборник документов с характерным названием «Колониальная политика царизма на Камчатке и Чукотке»³. В нем освоение указанных территорий русскими предлагалось рассматривать в контексте колониального опыта других европейских империй. Вводная статья изобиловала такими выражениями, как «политика военно-феодалного грабежа», «завоевание

² Несколько упрощая, можно сказать, что с точки зрения большевиков ситуация выглядела следующим образом: русский пролетариат и крестьянство подвергались в Российской империи только классовому угнетению, тогда как остальные народы испытывали двойной гнет – и классовый, и национальный. Это обстоятельство ставило первых в привилегированное положение и требовало в новых условиях специальных мер, направленных на устранение прошлых несправедливостей. Не случайно канадский историк Т. Мартин назвал СССР «империей позитивной дискриминации / позитивного действия» (*affirmative action empire*), проводя прямую аналогию между советской политикой «коренизации» и более поздними западными практиками поддержки ранее угнетенных групп (чернокожих, женщин и прочих) [Мартин 2011].

³ Алькор Я.П., Дрезен А.К. (ред.) (1935) Колониальная политика царизма на Камчатке и Чукотке в XVIII в. Сборник архивных материалов. Л.: Изд-во Института народов Севера ЦИК СССР.

Камчатки», «угнетенные народы» и прочими [Окунь 1935], также критиковался «великодержавный» взгляд на историю Сибири, который героизировал русских первопроходцев и конкистадоров (В.В. Атласова, С.П. Крашенинникова), но при этом совершенно не учитывались интересы туземцев, их отношение к русскому присутствию. По мере возможностей авторы сборника пытались исправить этот перекос – на страницы сборника попала жалоба камчадалского вождя Начика на русских колонистов («и что у нас имеется, то всё берут» [Окунь 1935, с. 7]); много внимания уделялось теме целенаправленного истребления отдельных племен (например анаулов и чукчей)⁴.

Примерно в этом же духе написана книга Ф.А. Кудрявцева о присоединении к России Сибири. Автор сознательно отказывается от любой романтизации этого процесса. «Первыми застрельщиками» в деле освоения Сибири русскими «были отряды казаков, совершившие огнем и мечом завоевание и объясачивание “новых земель”» [Кудрявцев 1939, с. 6]. В работе упоминаются многочисленные восстания народов Восточной Сибири (бурят, якутов, эвенков) в середине XVII в., вызванные «грабежами, насилиями, порабощением ясыря (пленников) и чрезмерными поборами со стороны агентов царской власти» [Кудрявцев 1939, с. 27]. Что касается Кавказской войны, то она рассматривается теперь как освободительная и справедливая борьба горцев за свою независимость, происходит глорификация ее предводителя имама Шамиля [Дегоев 2003, с. 261–263]. В конечном счете антиколониальная рамка становится доминирующей при описании взаимодействия центра и окраин.

Таким образом, в первые два постреволюционных десятилетия исторический нарратив во многом строился на идее исторической вины русских как бывшего имперского народа, и важной частью дискурса о прошлом стала тема угнетения автохтонного населения окраин. Суть этого подхода точно выразил историк М.Н. Покровский: «В прошлом мы, русские, <...> были величайшие из грабителей, каких можно себе представить» (цит. по: [Бранденбергер 2017, с. 27]). Как уже отмечалось, по своей сути советский антиколониальный поворот в политике памяти был схож с процессами, позднее происходившими на Западе, где интеллектуалы, гражданские активисты и политики из леволиберального лагеря поставили под сомнение позитивную роль европейского присутствия в колониях и стремились преодолеть коллективную амнезию своих обществ в отношении неприглядных страниц прошлого. На практике это вылилось в призывы пересмотреть учебные планы по истории и литературе, изменить музейные концепции, добавить в национальный календарь новые праздники и памятные даты (например, День отмены рабства во Франции). Правда, если на Западе работа по переосмыслению прошлого была инициирована в первую очередь представителями гражданского общества, то в СССР она явилась следствием государственной политики, поэтому, как только линия партии изменилась, обозначенные тенденции стали быстро сворачиваться. Начался этот процесс с середины 1930-х гг., когда по мере отказа от идеи мировой революции и разгрома И.В. Сталиным старой «ленинской гвардии» советский проект из революционно-эмансипаторского постепенно превратился в неоимперский. В ходе этой эволюции роль главной идеологической опоры отводилась государственному руссоцентричному

⁴ В книге, в частности, цитируется Указ Сената от 1742 г. в отношении чукчей: «...на оных немирных чюкч военной оружейною рукою наступить, искоренить вовсе» [Окунь 1935, с. 12].

патриотизму⁵, следствием чего стали восстановление позитивного образа дореволюционной России и возвращение этатистского дискурса. Если в 1920-е гг. в политике памяти упор был сделан на радикальный разрыв с «проклятым прошлым», то полтора десятилетия спустя власти начали сознательно выстраивать дискурс об исторической преемственности от «старорежимной» к советской России. В рамках пересмотренной исторической концепции «прогрессивными» царями объявлялись Иван Грозный и Петр I (они строили могучее государство, подобно тому, как это делает И.В. Сталин [*Brandenberger, Platt* 2006]), а русский народ трансформировался в несущий элемент всей неоимперской конструкции⁶.

Разумеется, возвращение патриотического нарратива не произошло в одночасье; некоторое время оба дискурса – антиколониальный и руссоцентричный – существовали параллельно. Так, Н.И. Бухарин, не уловивший новых тенденций, подвергся в 1936 г. критике товарищей по партии за статью в «Известиях», в которой он доказывал, что недоверие «националов» к русским объясняется пережитым колониальным опытом [*Бранденбергер* 2017, с. 57]. С другой стороны, в школьном учебнике для 3–4 классов под редакцией А.В. Шестакова (1937 г.) можно было обнаружить еще элементы прежнего подхода: например, в главе, описывающей последствия присоединения Грузии к России, говорилось, что страна «стала владением царской России. В суды и другие учреждения посадили русских чиновников» [*Шестаков* 1937, с. 79]. Тем не менее непосредственно перед Великой Отечественной войной руссоцентричный патриотизм окончательно одержал верх над пролетарским интернационализмом. Формируемый исторический нарратив был призван обеспечить единство и сплоченность народов СССР, поэтому к началу 1940-х гг. власти окончательно отказались от идеи создания отдельных учебников истории для каждой союзной республики. В то же время в стране с размахом провели празднования 125-летия Бородинского сражения и 230-летия Полтавской битвы; в широкий прокат вышли фильмы, прославлявшие отечественную историю и подвиги русских полководцев («Александр Невский» С.М. Эйзенштейна, «Суворов» В.И. Пудовкина и М.И. Доллера).

Поскольку русские получили неофициальный статус «старшего брата» в дружной семье советских народов, эта благодатная картина патерналистской опеки начала распространяться и на прошлое; соответственно, доминирующей при описании имперского опыта России стала теория «наименьшего зла». Стройно сформулированная известным советским историком М.В. Нечкиной, концеп-

⁵ «Руссоцентризм» – термин, предложенный американским исследователем Д. Бранденбергером. Он обозначает активное использование партийным руководством русских национальных символов и героев для патриотической индоктринации населения [*Бранденбергер* 2017].

⁶ На одном из заседаний Политбюро в 1934 г. Сталин заявил: «Русский народ в прошлом собирал другие народы, к такому же собирательству он приступил и сейчас» [*Бранденбергер* 2017, с. 55]. Сказанное, однако, не означает, будто граница между «метрополией» и «колониями» в СССР проходила по этнической линии (русские vs нерусские). На самом деле положение русских оставалось двойственным. С одной стороны, они действительно были в известном смысле имперским народом: можно говорить о существовании в Советском Союзе с конца 1930-х гг. своеобразной иерархии культур, в которой русская занимала самую значимую позицию; также можно указать на доминирование русских в силовых структурах (в том числе в республиканских) и т. д. С другой стороны, все тяготы строительства советской империи (например, коллективизация), равно как и массовые репрессии, касались русских ничуть не меньше остальных народов. Впрочем, это замечание справедливо и в отношении Российской империи: достаточно вспомнить положение, в котором находились массы русского крепостного крестьянства. Данное обстоятельство позволило Р. Суни сделать вывод о том, что в действительности в роли метрополии часто выступает не этническая группа как таковая, а политический институт: в Российской империи это был институт дворянства, в СССР – коммунистическая партия [*Суни* 2007, с. 39].

ция сводилась к следующему: присоединение нерусских народов к России было, конечно, злом, потому что они потеряли свою национальную независимость, тем не менее в конечном итоге такое присоединение имело прогрессивный характер [Нечкина 1951], так как в результате эти народы вовлекались в более развитые социально-экономические отношения и имели возможность приобщиться к культуре «великого русского народа» [Вержбицкий 1951]. Кроме того, перспектива оказаться под властью Персии, Турции или, например, Польши была для присоединенных к России народов значительно хуже. Как писал дагестанский историк А.Д. Даниялов, «Россия, несмотря на колониальную политику царизма, объективно выполняла роль освободителя наших народов от жестокого гнета и произвола иранских и турецких хищников» [Даниялов 1950, с. 5]. На практике на негативных последствиях от вхождения нерусских народов в состав России внимание старались вообще не заострять, поэтому называть данный подход формулой «наименьшего зла» можно с известной долей условности [Штеппа 1962, р. 117].

Неудивительно, что в послевоенный период советские историки, подобно своим дореволюционным коллегам, объявили присоединение Кавказа к России «прогрессивным историческим явлением» [Урушадзе 2018, с. 112]. Более того, в чём-то советские авторы продвинулись дальше своих предшественников: в период ждановщины лидеры горцев превратили в шпионов и пособников иностранных государств. Досталось в первую очередь имаму Шамилю: его «так называемая борьба <...> за независимость» на поверку оказалась «военной авантюрой, спровоцированной Англией против России и направленной на присоединение Кавказа и Дагестана к Турции» [Даниялов 1950, с. 9]. Если в эпоху борьбы с «великодержавным шовинизмом» Кенесары Касымов, предводитель крупнейшего восстания казахов и киргизов против российского владычества, превозносился как герой, то теперь оценки резко поменялись: в трактовке авторов БСЭ (издание 1969–1978 гг.) К. Касымов возглавлял «реакционное феодально-монархическое движение, направленное на отрыв Казахстана от России» [Бисенов 1957].

Историки, которые недостаточно последовательно придерживались обозначенной концепции, подвергались осуждению. Непростая судьба ждала авторов коллективных трудов «История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней» (1943 г.) и «Очерки по истории Башкирии» (1944 г.). Начальник Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александров раскритиковал обе книги за излишний упор на «колонизаторскую политику царизма» вместо описания позитивных последствий от включения этих территорий в состав России [Бранденбергер 2017, с. 150–152]. В результате башкирские историки под чутким руководством столичных коллег сформулировали новую концепцию, в которой акцент был перенесен на добровольное присоединение башкир к Московскому государству [Тихонов 2013, с. 162–163]. В позднесталинские годы центральные власти регулярно занимались проработкой республиканских историков за «национализм». Как «требующей переделки» был охарактеризован «Краткий очерк истории тувинского народа» за то, что в нем не была должным образом раскрыта тема «дружбы русского и тувинского народов», а также «влияние русской культуры на развитие тувинской культуры» [Бранденбергер 2017, с. 210]. Эти же требования предъявлялись и к произведениям массовой культуры (например, к историческим фильмам, которые снимались на республиканских киностудиях).

Без особых изменений такая историческая политика просуществовала до перестройки: так, в 1982 г. Чечено-Ингушская АССР отметила 200-летний юбилей «добровольного вхождения» в состав России (при этом Кавказская война была объявлена мифом «реакционных» историков) [Shnirelman 2006, pp. 284–287]. По большому счету, это был тот же имперский руссоцентричный нарратив, что и в царской России, разбавленный сюжетами про освободительное движение, революцию и сопровождаемый дежурными отсылками к классикам марксизма-ленинизма [Аналитический отчет 2017, с. 23–24]. Подлинной плюрализации и деколонизации памяти в советский период не произошло: ключевые события отечественной истории по-прежнему оценивались с централистских позиций, а окраины могли подключиться к разговору о прошлом в основном лишь для того, чтобы выразить свою благодарность русскому народу, поскольку любое отступление от формулы «наименьшего зла» оказывалось политически опасным. Понятие «колониализм» гораздо чаще употреблялось в отношении других европейских держав, нежели Российской империи.

Историческая память в постсоветский период: между этническим партикуляризмом и централизмом

С началом перестройки ситуация в сфере исторической памяти снова начала трансформироваться. Ослабление цензуры, кризис идеологии, процессы этнической мобилизации в «нерусских» регионах пробудили интерес к альтернативным версиям истории, которые не укладывались в советский официальный нарратив. По окраинам прокатился своеобразный бум контрпамяти, в рамках которого исторические фигуры (например, имам Шамиль, Заки Валиди) заново канонизировались и превратились в символы «освободительной» борьбы с новым имперским «центром» [Дегоев 2003, с. 281–282].

Эти же процессы продолжились после распада СССР и на территории России, переживающей в 1990-е гг. период политической децентрализации. Страна оказалась разделенной на 89 субъектов, часть которых стали национальными республиками, причем ослабленному федеральному центру приходилось искать компромиссы с региональными элитами, договариваться относительно распределения ресурсов и полномочий. На этом фоне в 1992 г. была принята новая концепция исторического образования, которая предполагала его разделение на федеральный и национально-региональный компоненты, при этом содержание последнего было отнесено к ведению субъектов РФ [Вяземский 2012, с. 26]. В результате в национальных регионах локальные истории нередко начали развиваться вне всякой связи с «большим» российским нарративом.

В каком-то смысле можно констатировать, что общероссийская и региональные версии прошлого существовали параллельно друг другу. С одной стороны, «большой» нарратив остался фактически нереформированным: от предшествующей эпохи им были унаследованы этатизм и руссоцентризм. Не случайно в республиках сетовали на то, что на страницах федеральных учебников нерусские народы лишены своей субъектности – они появлялись там только в тот момент, когда с ними взаимодействовали русские (завоевывали их, обращали в правосла-

вие и т. д. [Гибатдинов 2005, с. 44])⁷. Но проблема касалась не только учебников истории: общенациональный нарратив как таковой предлагал россиянам историю страны, в которой герои, деятели науки и культуры почти всегда были представлены этническими русскими. Кроме того, после распада СССР российское общество по-прежнему отгораживалось от честного разговора о своем имперском прошлом широко распространенным тезисом «мы никогда никого не угнетали и не завоевывали».

С другой стороны, доминирование идеологии этноцентризма в республиках приводило к тому, что региональный образовательный компонент зачастую сводился к изучению истории титульной этнической группы (вместо истории всего региона). Если в рамках общероссийского нарратива неприглядные страницы прошлого (завоевания окраин, насильственная христианизация) могли замалчиваться, то этнорегиональные контр истории, напротив, ставили страдания титульной нации, ее притеснения метрополией в центр своего нарратива. При этом в ряде республик (например, в Татарстане) на изучение регионального компонента выделялось до 50% всех учебных часов по истории, в то время как федеральное Министерство образования фактически не могло контролировать содержание образовательных стандартов на местах. Иначе говоря, региональные политики памяти работали, скорее, на выстраивание партикуляристской идентичности, слабо связанной с общероссийской лояльностью, тем более что последняя не была еще в достаточной степени сформирована⁸.

Таким образом, в 1990-е гг. в России так и не была выработана агонистическая модель памяти, поскольку «большой» российский нарратив, оставаясь имперским по своей сути, не претерпел какой-либо существенной ревизии; на местах широко распространились партикуляристские версии истории, нередко находившиеся в конфликте между собой и мало соотносившиеся с общероссийским нарративом. Все это соответствовало в большей мере антагонистическому режиму памяти, в рамках которого последняя понимается как поле конфликта с нулевой суммой⁹. Для единой гражданской нации такая ситуация едва ли может быть признана приемлемой.

С начала 2000-х гг. в России начался процесс рецентрализации с наступлением на автономию регионов, что так или иначе затрагивало и сферу исторической памяти. В 2011 г. вступил в силу новый закон «Об образовании», в котором вместо прежнего разделения на федеральный и региональный компоненты проводилась идея единого федерального компонента (возможность изучения вопросов региональной истории и культуры предусматривалась лишь в рамках вариативной части образовательного плана). Еще на стадии обсуждения этот закон критиковался в национальных республиках как слишком централизаторский, однако противники документа услышаны не были. Более того, примерно в это же время активизировался дискурс о переходе к единому учебнику по истории

⁷ Подробный анализ учебников по истории 1990–2000-х гг. см.: [Shnirelman 2009].

⁸ Социологические опросы, проведенные в 1994–1995 гг., показали, что во многих республиках значительная часть представителей титульного населения идентифицировала себя скорее со своим регионом, нежели с Россией в целом. Самоидентификация со своей республикой была более значима для 80,1% якутов, 63,7% тувинцев, 55,3% осетин, 85,7% сельских и 59% городских татар. В остальных республиках картина была в целом похожая: как отмечает исследователь этого вопроса, «почти никто не отдавал предпочтение российской идентичности» [Вилков 2011, с. 157–158].

⁹ Подробнее об антагонизме в политике памяти см.: [Миллер 2018, с. 7].

России, поддержанный на самом высоком уровне. И хотя такой переход до сих пор не осуществлен (появился лишь единый историко-культурный стандарт), само обсуждение этой идеи демонстрировало, что значительной части российского политического класса и экспертного сообщества была чужда мысль о необходимости плюрализации исторической памяти. Напротив, любое отклонение от исторического канона рассматривалось в категориях угрозы национальной безопасности, ослабления единства государства. Так, отстаивая идею унификации исторического образования, В.Р. Мединский, будущий министр культуры (в то время депутат Государственной Думы), заявил, что «от линейки учебников истории до линейки государств в рамках России, а потом и не в рамках России – один шаг»¹⁰. Примерно в этом же духе высказался В.В. Путин: «Я полностью согласен с тем, что должна быть какая-то каноническая версия нашей истории. Если, действительно, мы будем на Востоке изучать одну историю, на Урале – вторую, в европейской части – третью, это в целом может разрушать и наверняка будет разрушать единое гуманитарное пространство нашей многонациональной нации, если позволите так выразиться»¹¹. Сохранение региональных контр историй сравнил с «гражданской войной в умах» и Ю.А. Петров, директор Института российской истории РАН [Касьянов 2019, с. 61–62].

Подводя итог этой части статьи, можно констатировать, что в постсоветский период в России режим памяти постепенно эволюционировал из антагонистического в гегемонистский. Если в 1990-е и самом начале 2000-х гг. просматривалась тенденция к формированию параллельных, слабо связанных между собой сообществ памяти, то затем – по мере укрепления вертикали власти – правящими кругами была сделана ставка на единство исторической памяти всех россиян, а несогласие с гегемонистским дискурсом могло трактоваться как фальсификация (переписывание) истории, а иногда и как часть «гибридной войны», развязанной против России внешними силами [Аналитический отчет 2017, с. 10]¹².

Однако принудительная унификация памяти на самом деле не способствует гражданскому единству, поскольку тот нарратив, который предлагается россиянам в качестве общеразделяемой истории, нередко вызывает мнемотическое сопротивление [Ryan 2014] со стороны тех, кто не готов принять гегемонистский дискурс о прошлом, и контр историй в том или ином виде, периодически прорываясь наружу, продолжают существовать. Отмечу, что мнемотическое сопротивление навязываемой сверху памяти проявлялось даже в сталинское время. Характерно, что в кампании конца 1940-х гг. по объявлению имама Шамиля агентом турецких и английских интересов на Кавказе тон задавали московские и грузинские историки, тогда как дагестанские авторы старались в ней вообще не участвовать,

¹⁰ Ротштейн Д. (2013) Владимир Путин выступил за учебники без двойных толкований // Коммерсантъ. 20 февраля 2013 // <https://www.kommersant.ru/doc/2131549>, дата обращения 15.08.2022.

¹¹ Конференция Общероссийского народного фронта (2013) // Президент России. 29 марта 2013 // <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/17767>, дата обращения 15.08.2022.

¹² Это не означает, что плюрализм в сфере исторической памяти невозможен вовсе. Альтернативные дискурсы вполне могут допускаться в публичное пространство, если они не рассматриваются правящей элитой как угроза. Есть темы, в отношении которых государство занимает, скорее, позицию нейтралитета: например, российские первые лица фактически проигнорировали 100-летний юбилей революции 1917 г., отказавшись давать какую-то публичную оценку этому событию. В отсутствие генеральной линии коммеморация революции осуществлялась на весьма плюралистических началах разными агентами исторической памяти (политическими партиями, научными институтами и т. д.). Можно приводить и другие подобные примеры. Принципиально, однако, то, что именно государство суверенно определяет допустимое пространство свободы.

несмотря на выговоры сверху «за слабую пропагандистскую работу». Исследователь этой темы В.В. Дегоев полагает, что это свидетельствует о «глухом недовольстве» среди северокавказских интеллектуалов: открыто высказываться против линии партии было опасно, но и «вытравить из народного сознания хрестоматийный образ Шамиля-героя было невозможно» [Дегоев 2003, с. 271]. В более свободные в политическом смысле времена конфликты между официальной и подавленной памятью прорывались в публичное пространство. В конце 1980-х гг. пересмотр концепции добровольного присоединения к России стал одним из главных требований чеченского национального движения. Более того, мемориальные конфликты периодически возникают и в настоящее время: можно вспомнить историю с демонтажем в 2021 г. бюста Ахмет-Заки Валиди, одного из главных национальных героев Башкирии, с территории Санкт-Петербургского государственного университета по предписанию прокуратуры, которая усмотрела в монументе «героизацию деяний пособников нацистских преступников», что вызвало возмущение Всемирного курултая башкир и башкирских властей (по этому поводу высказывался в том числе глава республики Р. Хабиров)¹³. Годом ранее татарские организации направили открытое письмо губернатору Тюменской области и главе Тобольска, протестуя против планов по возведению в городе поклонного креста в честь атамана Ермака и его дружины, поскольку у многих коренных народов Сибири Ермак ассоциируется с началом их колонизации. На Северном Кавказе регулярно происходили протесты против установки памятников генералу А.П. Ермолову.

Всё это свидетельствует о целесообразности перехода от ситуации игнорирования и подавления контрнарративов к мнемотическому режиму, в котором окажется возможной публичная борьба между собой разных версий прошлого, однако в отличие от периода 1990-х гг. проходить это противостояние должно в рамках общего дискурсивного пространства.

Агонистический режим памяти: абрис модели

В основе агонистического режима памяти лежит плюралистический подход к прошлому, который подразумевает отказ от любого монологизма, от единственно верной трактовки истории. Это дает возможность сосуществования соперничающих исторических нарративов, каждый из которых продвигают в публичном поле различные мнемотические акторы. При этом для того чтобы режим памяти не сместился в сторону антагонизма, принципиально важным остается соблюдение определенных правил игры. Главное из них – признание права оппонентов на собственную точку зрения и согласие с ними по поводу базовых политических и этических принципов. Оппонент – это не враг, а соперник [Mouffe 2012].

Следует оговориться, что агонистическая модель является идеальным типом (в веберовском смысле), которому может в большей или меньшей степени соответствовать пространство коллективной памяти в конкретном обществе. Сама концепция агонизма возникла применительно к либеральным демократиям – обществам с развитой публичной сферой и соревновательной политической

¹³ Андреева А. (2021) В Петербурге демонтировали бюст Ахмет-Заки Валиди // РБК. 27 января 2021 // <https://ufa.rbc.ru/ufa/27/01/2021/601142919a79475af4d3cd46>, дата обращения 15.08.2022.

традицией, с глубоко укоренившимися навыками публичных дебатов. Но даже там реализация принципов агонистического плюрализма может наталкиваться на определенные препятствия¹⁴. Очевидно, что в России, стране с иной политической культурой, трудности возрастают многократно, и умалчивать о них было бы неправильно.

Политическая реальность, в которой мы сегодня находимся, едва ли подразумевает возможность полноценного диалога в публичном пространстве. Режимам, подобно российскому, несвойственно понимание политики как форума – арены, на которой происходит коммуникация людей по поводу общего блага. Если само пространство публичных дискуссий в стране существенно ограничено, странно было бы ожидать иной ситуации в той их части, которые касаются вопросов исторической памяти. Но проблемы носят не только институциональный, но и социокультурный характер. Немало написано об отсутствии в российском обществе навыков ведения диалога по сложным проблемам, о неразвитости публичного языка, на котором граждане могли бы полноценно коммуницировать друг с другом¹⁵. Как отмечал отечественный философ А.А. Кара-Мурза, в России «сосуществование различных дискурсов не порождает общегражданский язык, а, напротив, ведет ко всё большей идеологической сегментации, окукливанию и герметизации различных картин мира, их острой конфронтации и в итоге к их общей деградации и взаимной аннигиляции» [Кара-Мурза 2010, с. 15]. Между тем выработка инклюзивной мемориальной культуры предполагает готовность слышать и понимать оппонента. Наконец, поскольку в этой статье обсуждается по большей части региональное измерение мемориальных конфликтов, замечу, что серьезной помехой для перехода к агонистической модели становится характер отношений между Москвой и субъектами федерации. В настоящий момент они выстроены по модели «центр – периферия», не допускающей какого-то равноправия. Тем не менее, поскольку мы констатировали существенные недостатки текущего режима памяти в России, необходимо обсуждать возможные альтернативы даже при условии, что пока они представляются скорее неким проектом в будущее.

Начать следует с обозначения возможных агентов памяти, которым предстоит вести между собой борьбу, касающуюся различных интерпретаций прошлого. В этой роли могут выступать представители региональных и федеральных элит, политических партий, лидеры мнений различной идеологической направленности, интеллектуалы, активисты. Указанные акторы могут включаться в дискуссии относительно установки/демонстрации монументов и изменения топонимики городов, участвовать в обсуждении образовательных программ и концепции музеев, поднимать вопрос о введении в календарь общенациональных/региональных праздников и памятных дат. В качестве примера несложно представить себе ситуацию, при ко-

¹⁴ Самое очевидное – это опасность сорваться в антагонизм, допустить ситуацию, при которой различные акторы памяти делают акцент исключительно на своей версии прошлого или, например, соревнуются друг с другом за роль главной исторической жертвы. Подобная ситуация описана А. Шлезингером-младшим на примере Калифорнии: там местное управление по делам образования вынуждено постоянно разбирать претензии к учебникам по истории со стороны жителей штата армянского, турецкого, польского происхождения, которые считают, что история их народа представлена в учебной программе недостаточно объективно [Schlesinger 1998, p. 81]. Из этой же серии – сговора некоторых чернокожих активистов на то, что чрезмерный акцент на коммеморации Холокоста в США оставляет в тени многовековые страдания «цветного» населения.

¹⁵ Подробнее на эту тему см. сборник статей, опубликованный по итогам международной конференции «Российское общество в поисках публичного языка: вчера, сегодня, завтра» в Европейском университете в Санкт-Петербурге [Vakhtin, Firsov 2016].

торой татарстанские историки и политики передают в федеральное Министерство просвещения предложение отразить в учебниках тот факт, что взятие Казани из Татарстана видится иначе, чем из Москвы, – как конец собственной государственности, имевший весьма трагичные последствия для местного населения¹⁶; или что представители музейного сообщества из Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии и Калмыкии направляют совместное заявление директору Музея Победы на Поклонной горе с просьбой дополнить экспозицию рассказом о массовых депортациях народов в годы Великой Отечественной войны; или что Курултай башкир Пермского края требует убрать памятник В.Н. Татищеву в Перми, поскольку он активно участвовал в кровавом подавлении башкирского восстания 1735–1737 гг. Если у этих мнемотических акторов оказывается недостаточно ресурсов, чтобы продать свою повестку, они могут не добиться поставленных целей, поскольку наряду с ними действуют и другие агенты памяти, чьи усилия направлены на утверждение триумфалистского, беспроблемного исторического нарратива. И напротив, какая-то из названных инициатив может оказаться настолько резонансной, что она простимулирует общенациональную дискуссию относительно облика городских пространств или содержания учебных программ по истории. Сегодня же попытки продвинуть в публичном пространстве (этно)региональные контрпамяти, противоречащие «большому» российскому нарративу, часто вызывают довольно жесткую реакцию. Показательна история, связанная с празднованием 350-летия вхождения Бурятии в состав России в 2011 г. Официальная концепция этой даты предполагала, что республика отмечает годовщину добровольного присоединения¹⁷; любые отступления от генеральной линии рассматривались как политически опасные. Тем не менее местный историк В.А. Хамутаев издал книгу, которая не укладывалась в разрешенную трактовку юбилея: ученый писал о «военно-казачьей колонизации бурят», ссылаясь в том числе на советских историков 1930-х гг. [Хамутаев 2011, с. 6]. Вскоре после этого он был уволен с работы, а позднее и вовсе эмигрировал из страны.

Подчеркну, что у меня нет намерения эссенциализировать этнические группы, утверждая, что все татары, буряты или башкиры являются носителями какой-то единой коллективной памяти. Тем не менее ощущение принадлежности к конкретному «воображаемому сообществу», как правило, влечет за собой лояльность определенному историческому мифу, самоидентификацию с тем или иным историко-культурным наследием (пусть даже сконструированным этническими антрепренерами). Когда групповые версии прошлого, с которыми люди солидаризируются, ставятся кем-то под сомнение, это вызывает сопротивление: так, в Бурятии спустя всего год после истории с В.А. Хамутаевым разгорелся громкий скандал вокруг идеи поставить в центре нового музейного комплекса в Улан-Удэ памятник казакам как основателям города. В итоге во избежание негативного общественного резонанса от этой идеи решено было отказаться.

Однако своя специфика восприятия исторических событий характерна не только для национальных регионов. Например, из Новгорода или Пскова история их присоединения к Московскому государству также может видеться иначе, чем из столицы: симптоматична романтизация в новгородской исторической памяти образа Марфы Борецкой, одного из лидеров антимосковской оппозиции времен

¹⁶ Не случайно Иван IV остался в памяти татарского народа как «Явыз [Злодей] Иван» [Рашитов 2001, с. 123].

¹⁷ О проблематичности самого понятия «добровольное присоединение» к России см.: [Трепавлов 2007].

Ивана III¹⁸. Кроме того, для самосознания местных жителей до сих пор важна память о вечевой традиции, о новгородских вольностях, о роли Новгорода как одного из культурных центров Руси. Это ощущение своей региональной особенности активно транслировалось через историческое образование в 1990-е гг.¹⁹, оно заметно и сегодня в творчестве многих местных интеллектуалов²⁰.

В демаргинализации локальных и (этно)региональных версий истории порой усматривают опасность сепаратизма, разрушения единства страны и скатывания общества в жесткое противостояние между разными этническими группами или между федеральным центром (как наследником имперской метрополии) и национальными республиками. Вполне очевидно, что это беспокойство небеспочвенно, поэтому тут надо сделать две оговорки. Во-первых, неверно представлять описываемую ситуацию исключительно как борьбу общенациональных и (этно)региональных агентов памяти. Дебаты в рамках агонистической модели видятся автору, скорее, противостоянием, идущим по идеологической линии. Если мы снова проведем параллели со странами Запада, то увидим, что там сторонниками ревизии европоцентристского канона в последние десятилетия выступали не столько представители «цветного» населения, сколько широкая коалиция гражданского общества²¹. В России лозунг деколонизации и плюрализации истории также может найти поддержку среди граждан, которым близка идея поликультурной российской нации и которые разделяют мнение о необходимости переосмысления обществом собственного прошлого, то есть примкнуть к «ревизионистам» можно вне зависимости от этнического происхождения и региона проживания.

Во-вторых, напомним, что агонистическая модель предполагает выстраивание общего дискурсивного пространства, в котором находятся оппоненты. Другими словами, утверждая собственную версию прошлого, мы исходим из того, что ведем борьбу со своими противниками по поводу разных трактовок общей истории. В этом смысле мемориальные конфликты оказываются направленными не на раскол российского общества, а на переосмысление им самого себя. Важным условием сохранения единого символического пространства является формирование у россиян своеобразной «матрешки» лояльностей – «локальная – региональная –

¹⁸ Несколько лет назад в Новгороде даже возникла идея установки памятника М. Борецкой как «символу региональной идентичности», однако дальше сбора подписей дело не продвинулось.

¹⁹ В. Шнирельман, анализируя рабочую тетрадь «Великий Новгород и я» Л.Ф. Сечениковой и И.А. Коложвари (1998 г.), обращает внимание на «<...> тот факт, что [его] львиная доля <...> посвящена демократическому периоду в жизни Новгорода. <...> Иными словами, Новгородская республика показана не только единственным оплотом демократии в истории Руси, но и примером демократии для будущей демократической России, хотя об этом в открытую и не говорится» [*Шнирельман 2009*, с. 221–222].

²⁰ См., например, персональный сайт историка и писателя В.Г. Смирнова, автора концепции «новгородской цивилизации»: <http://novgorodcivilization.ru/>

²¹ Во Франции в 1990 г. была учреждена Ассоциация по созданию музея иммиграции (Association pour un musée de l'immigration), одним из основателей которой стал известный французский историк Ж. Нурьель. С другой стороны, инициатором законопроекта 2005 г., предписывавшего учителям рассказывать школьникам о позитивной роли французского присутствия в колониях, выступил выходец из Алжира Х. Мекашера. В Британии лидер лейбористов Дж. Корбин в 2019 г. обещал в случае своей победы на парламентских выборах учредить специальный фонд, который будет финансировать учебные проекты, посвященные темам колониализма и расизма. В США в период президентства Д. Трампа возникло противостояние между двумя коммеморативными проектами – «Проектом 1619», предлагавшим поставить в центр американского исторического нарратива память о рабстве и угнетении чернокожих, и «Комиссии 1776», учредители которой отстаивали более «патриотическую» версию прошлого. Среди создателей обоих проектов доминировали чернокожие историки и активисты. Исходя из этого, можно сделать вывод, что занимаемая человеком позиция в мемориальных дебатах не детерминирована его расовым или этническим происхождением и определяется по большей части идеологическими установками.

общенациональная память» [Вяземский 2012, с. 35]. Кстати, один из удачных примеров совмещения разных дискурсов о прошлом демонстрировал учебник по истории, выпущенный в Татарстане в начале 2000-х гг. В нем, с одной стороны, была дана достаточно жесткая картина завоевания Казанского ханства русскими войсками²², с другой – описание восстаний татар против центральной власти и их насильственной христианизации сосуществует там с нарративом общенационального единства: татарский народ, забыв «старые обиды», «с честью выполнял <...> возложенную на него историческую миссию участия в строительстве нашего Дома – Российского государства» [Рашитов 2001, с. 124–125]. Как можно видеть, в данном случае травматическая память о насильственном присоединении к России соединяется с идеей о том, что в дальнейшем государство в Северной Евразии стало общим делом татар и других российских народов. Аналогичным образом у народов, пострадавших от насильственных депортаций в годы Великой Отечественной войны, это событие, являясь важной частью их идентичности, едва ли обесценивает Победу как таковую; скорее, можно говорить о том, что в данном случае история войны получает еще одно, сугубо трагическое измерение. Поэтому дихотомия «поддержка локальных нарративов vs сохранение единства российской нации» представляется всё-таки ложной.

Наконец, последнее важное соображение. Проблема построения агонистической модели памяти не может быть сведена исключительно к продвижению в публичном пространстве (этно)региональных контрдискурсов. Речь должна идти о трансформации российской мемориальной культуры как таковой; необходимо создавать условия для всестороннего диалога по спорным вопросам, имеющим общенациональное значение (революция 1917 г., сталинские репрессии, перестройка, события 1990-х гг.). Также принцип агонизма предполагает, что мы не ожидаем от российского общества достижения окончательного консенсуса по какому-то из этих проблемных для коллективной памяти сюжетов. Любое общество конституируется как целостность не одинаковыми ответами на ключевые вопросы, а самим набором тем, вокруг которых строится непрерывная публичная дискуссия. Иногда она может длиться столетиями – подобно отечественной полемике между западниками и славянофилами, в том или ином виде воспроизводимой до сих пор. Точно также либералы и коммунисты никогда не договорятся по поводу своего отношения к М.С. Горбачеву или Е.Т. Гайдару, однако следует, чтобы и те, и другие имели возможность публично высказываться.

Инклюзивная модель памяти невозможна и без проблематизации московско-государствоцентричного характера «большого» российского нарратива, в рамках которого а) прошлое страны рассматривается и оценивается только из ее политического центра; б) главный смысл отечественной истории видится в процессе расширения и укрепления государства. В этой связи есть смысл подумать об определенных мерах в сфере образования и медиа, нацеленных на проработку прошлого, на разоблачение имперских мифов о том, что Россия не вела ни одной завоевательной войны, не имела ни одной колонии, проявляла удивительную терпимость ко всем завоеванным народам. Честный разговор о российской истории предполагает, например, что, говоря об освоении Сибири, мы не только отдаем дань смелости первопроходцев, благодаря которым Россия прирастала новыми территориями,

²² Автор, в частности, пишет: «2 октября 1552 года [день взятия Казани] навсегда вошел в память татарского народа как черный день национальной катастрофы» [Рашитов 2001, с. 113].

но и понимаем обратную сторону имперской экспансии. В частности, мы осознаем цену, заплаченную за это коренными народами, которых в случае сопротивления царская администрация предписывала «воевать, и жены и дети иметь в полон» [Слезкин 2008, с. 31–32], которых брали в заложники для того, чтобы гарантировать бесперебойное поступления ясака в казну, подвергали насильственной христианизации и т. д. Все эти факты (замечу, не только задокументированные, но и сохранившиеся в преданиях многих народов – якутов, энцев) остаются сегодня совершенно неотрафлексированными в общероссийской памяти. То же самое касается Кавказской войны: в самосознании российского общества просто отсутствует память о трагедии этой войны, связанной с вынужденным переселением сотен тысяч людей с родной земли в Османскую империю. В трех республиках (Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее) в постсоветский период был учрежден День памяти жертв Кавказской войны (21 мая), однако все попытки вывести его на федеральный уровень оказались тщетными. В итоге, как пишет исследователь этого вопроса А.Т. Урушадзе, образовался «мемориальный разрыв» между памятью адыгов и «большим российским обществом» [Урушадзе 2018]. Без устранения этих разрывов формирование общих рамок памяти просто невозможно.

Когда-то историк и философ М. Гефтер справедливо назвал Россию «страной стран» – обществом, которое может «внутри себя организоваться <...> [только] с акцентом на различия» [Гефтер 2015, с. 367–368]. Очевидно, что единый исторический канон, написанный к тому же с имперских позиций, совершенно не релевантен этой внутренней сложности и плюралистичности России, поэтому хочется верить, что российскому обществу еще предстоит полноценные дебаты о его прошлом.

Список источников

- Аналитический отчет по социологическому исследованию в рамках доклада Вольного исторического общества «Какое прошлое нужно будущему России?» (2017) // Комитет гражданских инициатив. 23 января 2017 // <https://komitetgi.ru/analytics/3076/>, дата обращения 04.05.2022.
- Бисенов Х.И. (1957) Кенесары Касымов // Большая Советская энциклопедия // <https://slovar.cc/enc/bse/2003793.html>, дата обращения 04.05.2022.
- Бранденбергер Д. (2017) Сталинский руссоцентризм. Советская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931–1956 гг.). М.: РОССПЭН.
- Вержбицкий В.Г. (1951) Великий русский народ – выдающаяся нация. М.: Издательство «Правда».
- Вилков А.А. (2011) Идеологический фактор формирования российской политической идентичности // Семенов И.С., Фатеева Л.А. (ред.) Идентичность как предмет политического анализа: сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции, ИМЭМО РАН, 21–22 октября 2010 г. М.: ИМЭМО РАН. С. 157–162.
- Вяземский Е.Е. (2012) Национально-региональный компонент общего исторического образования в Российской Федерации: дискуссионные подходы // Проблемы современного образования. № 4. С. 21–40 // <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-regionalnyy-komponent-obshego-istoricheskogo-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federatsii-diskussionnye-podhody>, дата обращения 04.05.2022.
- Гефтер М. (2015) Третьего тысячелетия не будет. Русская история игры с человечеством. Разговоры с Глебом Павловским. М.: Европа.

- Гибатдинов М.М. (2005) Перспектива поликультурного подхода в преподавании курса «История Отечества» // Реализация национально-регионального компонента исторического образования в национальных республиках Поволжья и Приуралья: проблемы и перспективы. Материалы II Межрегиональной научно-практической конференции, 26 октября 2004 г., Казань. Казань: Институт истории АН РТ. С. 42–46.
- Даниялов А.Д. (1950) Об извращениях в освещении мюридизма и движения Шамиля. Махачкала: Даггиз.
- Дегоев В.В. (2003) Большая игра на Кавказе: история и современность. М.: SPSP – «Русская панорама».
- Карамзин Н.М. (1843) История государства Российского. Издание пятое: в трех книгах. СПб.: Типография Эдуарда Праца. Книга третья.
- Кара-Мурза А.А. (2010) Как возможен Русский мир? // Никонов А. (ред.) Смыслы и ценности Русского мира. М.: Русский мир. С. 15–19.
- Касьянов Г. (2019) Украина и соседи: историческая политика. 1987–2018. М.: НЛО.
- Колосовская Т.А., Ткаченко Д.С. (2020) Имперская политика памяти на Кавказе: механизмы конструирования массового исторического сознания (XIX – начало XX веков) // Новый исторический вестник. № 2. С. 131–154. DOI: 10.24411/2072-9286-2020-00014
- Кудрявцев Ф.А. (1939) Восстания крестьян, посадских и казаков в Восточной Сибири в конце XVII века. Иркутск: ОГИЗ.
- Мартин Т. (2011) Империя положительной деятельности: Советский Союз как высшая форма империализма // Государство наций: империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина. М.: РОССПЭН. С. 88–116.
- Миллер А.И. (2018) Введение. Методологические проблемы изучения политики памяти – решенные, нерешенные и неразрешимые // Миллер А.И., Ефременко Д.В. (ред.) Методологические вопросы изучения политики памяти. М., СПб.: Нестор-История. С. 4–10.
- Нечкина М. (1951) К вопросу о формуле «наименьшее зло» (письмо в редакцию) // Вопросы истории. № 4. С. 44–48 // <https://libmonster.ru/m/articles/view/K-ВОПРОСУ-О-ФОРМУЛЕ-НАИМЕНЬШЕЕ-ЗЛО-ПИСЬМО-В-РЕДАКЦИЮ>, дата обращения 04.05.2022.
- Окунь С.Б. (1935) Вступительная статья // Алькор Я.П., Дрезен А.К. (ред.) Колониальная политика царизма на Камчатке и Чукотке в XVIII в. Сборник архивных материалов. Л.: Изд-во Института народов Севера ЦИК СССР. С. 2–25.
- Рашитов Ф.А. (2001) История татарского народа. С древнейших времен до наших дней. Саратов: Регион. Приволжское изд-во «Детская книга».
- Слезкин Ю. (2008) Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера. М.: НЛО.
- Суни Р. (2007) Империя как она есть: имперский период в истории России, «национальная» идентичность и теории империи // Тишков В.А., Шнирельман В.А. (ред.) Национализм в мировой истории. М.: Наука. С. 36–81.
- Тихонов В.В. (2013) «Тут явно сквозит дух объективизма...». Создание «Очерков по истории Башкирии» // Диалог со временем. Выпуск № 45. С. 160–168.
- Трепавлов В.В. (2007) «Добровольное вхождение в состав России»: торжественные юбилеи и историческая действительность // Вопросы истории. № 11. С. 155–163 // <https://library.by/portalus/modules/politics/readme.php?subaction=showfull&id=1610627040&archive=&start from=&ucat=&>, дата обращения 04.05.2022.
- Урушадзе А.Т. (2018) Помнить-нельзя-забыть: Кавказская война в исторической памяти адыгов и российском пространстве коммеморации // Политическая наука. № 3. С. 106–128. DOI: 10.31249/poln/2018.03.06
- Филиппова Е.И., Филиппов Р.В. (2020) Распад французской колониальной империи в политике памяти Пятой республики // Известия АлтГУ. Исторические науки и археология. № 6 (116). С. 77–80. DOI: 10.14258/izvasu(2020)6-13
- Хамутаев В.А. (2011) Вхождение Бурятии в состав России: история, право, политика. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН.
- Шестаков А.В. (ред.) (1937) Краткий курс истории СССР. М.: Государственное учебно-педагогическое издание.

- Шнирельман В.А. (2009) Идентичность и политика постсоветской памяти // Политическая концептология. № 2. С. 209–230 // <https://politconcept.sfedu.ru/2009.2/10.pdf>, дата обращения 04.05.2022.
- Brandenberger D., Platt K. (2006) Rewriting the History of Ivan IV's Reign, 1937–1956 // Epic Revisionism. Russian History and Literature as Stalinist Propaganda (eds. Platt K., Brandenberger D.), Madison: The University of Wisconsin Press, pp. 157–178.
- Bull A., Hansen H. (2016) On Agonistic Memory // Memory Studies, vol. 9, no 4, pp. 1–15. DOI: 10.1177/1750698015615935
- King L.J. (2017) The Status of Black History in U.S. Schools and Society // Social Education, vol. 81, no 1, pp. 14–18 // https://www.socialstudies.org/system/files/publications/articles/se_810117014.pdf, дата обращения 04.05.2022.
- Lidher S., McIntosh M., Alexander C. (2020) Our Migration Story: History, the National Curriculum, and Re-narrating the British Nation // Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 47, no 18, pp. 4221–4237. DOI: 10.1080/1369183X.2020.1812279
- Mayo E.P. (1983) Women's History and Public History: The Museum Connection // The Public Historian, vol. 5, no 2, pp. 63–73.
- Mouffe Ch. (2012) An Agonistic Approach to the Future of Europe // New Literary History, vol. 43, no 4, pp. 629–640 // <http://newliteraryhistory.org/articles/43-4-mouffe.pdf>, дата обращения 04.05.2022.
- Parekh B. (2000) The Future of Multi-Ethnic Britain, London: Profile Books.
- Ryan L. (2014) Cosmopolitan Memory and National Memory Conflicts: On the Dynamics of Their Interaction // Journal of Sociology, vol. 50, no 4, pp. 501–514. DOI: 10.1177/1440783312467097
- Schlesinger A.M., Jr. (1998) The Disuniting of America. Reflections on a Multicultural Society, New York: W.W. Norton & Co.
- Shnirelman V.A. (1996) Who Gets the Past? Competition for Ancestors among non-Russian Intellectuals in Russia, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Shnirelman V. (2006) A Revolt of Social Memory. The Chechens and Ingush against the Soviet Historians // Reconstruction and Interaction of Slave Eurasia and Its Neighboring Worlds (eds. Osamu I., Tomohiko U.), Hokkaido: Hokkaido University, pp. 273–307.
- Shnirelman V. (2009) Stigmatized by History or by Historians? // History & Memory, vol. 21, no 2, pp. 110–149. DOI: 10.2979/HIS.2009.21.2.110
- Shtepa K. (1962) The “Lesser Evil” Formula // Rewriting Russian History. Soviet Interpretations of Russia's Past (ed. Black C.E.), New York: Vintage Books, pp. 107–122.
- Soysal Y., Szaracs S. (2010) Reconceptualizing the Republic: Diversity and Education in France, 1945–2008 // Journal of Interdisciplinary History, vol. 41, no 1, pp. 97–115. DOI: 10.1162/jinh.2010.41.1.97
- Stepan A., Linz J. (2011) Crafting State-Nations: India and Other Multinational Democracies, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Tomlinson S. (2015) Fundamental British Values // The Runnymede School Report. Race, Education and Inequality in Contemporary Britain (eds. Alexander C., Weekes-Bernard D., Arday J.), London: Runnymede Trust, pp. 10–14.
- Vakhtin N., Firsov B. (eds.) (2016) Public Debate in Russia. Matters of (Dis)order, Edinburgh: Edinburgh University Press.

The Historical Memory of Russian Society: Towards an Agonistic Model

D.E. LETNYAKOV*

***Denis E. Letnyakov** – PhD in Politics, Researcher, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russian Federation, letnyakov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7936-7013>

Citation: Letnyakov D.E. (2023) The Historical Memory of Russian Society: Towards an Agonistic Model. *Mir Rossii*, vol. 32, no 1, pp. 109–129 (in Russian). DOI: 10.17323/1811-038X-2023-32-1-109-129

Abstract

This paper argues that Russian memory politics are not aligned with the cultural diversity of Russian society. Russian historical memory has traditionally been dominated by a “Moscow-centric” narrative that virtually ignores the ethnic and regional versions of the past. This raises the question of decolonizing Russian historical memory and of rethinking it on more inclusive foundations. In this regard, the author proposes a move towards the agonistic mode of memory. The latter has two basic features: (1) inner pluralism, i.e., the possibility of coexisting conflicting historical narratives in the public sphere, (2) orientation toward a common discursive space which does not allow the debate about the past to become a zero-sum game.

Keywords: *historical memory, politics of memory, agonistic mode of memory, Russia, federalism, identity, cultural diversity*

References

- Analytical Report on Sociological Research within the Framework of the Report of the Free Historical Society “What Kind of Past Does the Future of Russia Need?” (2017). *Committee of Civil Initiatives*, January 23, 2017. Available at: <https://komitetgi.ru/analytics/3076/>, accessed 04.05.2022 (in Russian).
- Bisenov Kh.I. (1957) Kenesary Kasymov. *Great Soviet Encyclopedia*. Available at: <https://slovar.cc/enc/bse/2003793.html>, accessed 04.05.2022 (in Russian).
- Brandenberger D. (2017) *National Bolshevism. Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931–1956*, Moscow: ROSSPEN (in Russian).
- Brandenberger D., Platt K. (2006) Rewriting the History of Ivan IV’s Reign, 1937–1956. *Epic Revisionism. Russian History and Literature as Stalinist Propaganda* (eds. Platt K., Brandenberger D.), Madison: The University of Wisconsin Press, pp. 157–178.
- Bull A., Hansen H. (2016) On Agonistic Memory. *Memory Studies*, vol. 9, no 4, pp. 1–15. DOI: 10.1177/1750698015615935
- Daniyalov A.D. (1950) *On Perversions in the Coverage of Muridism and Shamil’s Movement*, Makhachkala: Daggiz (in Russian).

The article was written on the basis of RANEPА state assignment research program.

The article was received in May 2022.

- Degoev V.V. (2003) *The Great Game in the Caucasus: History and Modernity*, Moscow: Russkaya panorama (in Russian).
- Filippova Ye.I., Filippov V.R. (2020) The Collapse of the French Colonial Empire in Politics of Memory of Fifth Republic. *Izvestiya of Altai State University*, no 6 (116), pp. 77–80 (in Russian). DOI: 10.14258/izvasu(2020)6-13
- Geffer M. (2015) *There Will Be no Third Millennium. Russian History of Playing with Humanity. Conversations with Gleb Pavlovsky*, Moscow: Evropa (in Russian).
- Gibatdinov M.M. (2005) The Prospects of a Multicultural Approach in Teaching the Course “Russian History”. *Implementation of the National-Regional Component of History Education in the National Republics of the Volga and Ural Regions: Problems and Prospects. Proceedings of the II Interregional Scientific and Practical Conference (26.10.2004, Kazan)*, Kazan: Institut istorii, pp. 42–46 (in Russian).
- Kara-Murza A.A. (2010) In What Way is ‘Russian World’ Possible? *The Meanings and Values of the “Russian World”* (ed. Nikonov V.), Moscow: Russkiy mir, pp. 15–19 (in Russian).
- Karamzin N.M. (1843) *History of the Russian State in 3 vol.*, Saint-Petersburg: Tipografiya Eduarda Praca. Vol. 3 (in Russian).
- Kasyanov G. (2019) *Ukraine and Its Neighbors: Politics of Memory, 1987–2008*, Moscow: NLO (in Russian).
- Khamutaev V.A. (2011) *The Entry of Buryatia into Russia: History, Law, Politics*, Ulan-Ude: Buryat Academic Center (in Russian).
- King L.J. (2017) The Status of Black History in U.S. Schools and Society. *Social Education*, vol. 81, no 1, pp. 14–18. Available at: https://www.socialstudies.org/system/files/publications/articles/se_810117014.pdf, accessed 04.05.2022.
- Kolosovskaya T.A., Tkachenko D.S. (2020) The Imperial Politics of Memory in the Caucasus: Mechanisms for Constructing Mass Historical Consciousness (19th – Early 20th Centuries). *New Historical Herald*, no 2, pp. 131–154 (in Russian). DOI: 10.24411/2072-9286-2020-00014
- Kudryavtsev F.A. (1939) *Revolts of Peasants, Tradespeople and Cossacks in Eastern Siberia at the End of the 17th Century*, Irkutsk: OGIZ (in Russian).
- Lidher S., McIntosh M., Alexander C. (2020) Our Migration Story: History, the National Curriculum, and Re-narrating the British Nation. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, vol. 47, no 18, pp. 4221–4237. DOI: 10.1080/1369183X.2020.1812279
- Martin T. (2011) Affirmative Action Empire: USSR as the Highest Form of Imperialism. *The State of Nations: Empire and Nation-Building in the Era of Lenin and Stalin*, Moscow: ROSSPEN, pp. 88–116 (in Russian).
- Mayo E.P. (1983) Women’s History and Public History: The Museum Connection. *The Public Historian*, vol. 5, no 2, pp. 63–73.
- Miller A.I. (2018) Introduction. Methodological Problems of Studying the Politics of Memory – Solved, Unresolved and Unsolvable Ones. *Methodological Issues of Studying the Politics of Memory* (eds. Miller A.I., Efemenko D.V.), Moscow, Saint Petersburg: Nestor-Istoriya, pp. 4–10 (in Russian).
- Mouffe Ch. (2012) An Agonistic Approach to the Future of Europe. *New Literary History*, vol. 43, no 4, pp. 629–640. Available at: <http://newliteraryhistory.org/articles/43-4-mouffe.pdf>, accessed 04.05.2022.
- Nechkina M. (1951) On the Question of the Formula “Lesser Evil” (Letter to the Editor). *Questions of History*, no 4, pp. 44–48. Available at: <https://libmonster.ru/m/articles/view/К-ВОПРОСУ-О-ФОРМУЛЕ-НАИМЕНЬШЕЕ-ЗЛО-ПИСЬМО-В-РЕДАКЦИЮ>, accessed 04.05.2022 (in Russian).
- Okun’ S.B. (1935) Introductory Article. *The Colonial Policy of Tsarism in Kamchatka and Chukotka in the 18th Century. Collection of Archival Materials* (eds. Alcor Ya.P., Dresen A.K.), Leningrad: Institut narodov Severa, pp. 2–25 (in Russian).
- Parekh B. (2000) *The Future of Multi-Ethnic Britain*, London: Profile Books.
- Rashitov F.A. (2001) *History of the Tatar People. From Ancient Times to the Present Day*, Saratov: Detskaya kniga (in Russian).
- Ryan L. (2014) Cosmopolitan Memory and National Memory Conflicts: On the Dynamics of Their Interaction. *Journal of Sociology*, vol. 50, no 4, pp. 501–514. DOI: 10.1177/1440783312467097

- Schlesinger A.M., Jr. (1998) *The Disuniting of America. Reflections on a Multicultural Society*, New York: W.W. Norton & Co.
- Shestakov A.V. (ed.) (1937) *A Short Course in the History of the USSR*, Moscow: Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izdanie (in Russian).
- Shnirelman V.A. (1996) *Who Gets the Past? Competition for Ancestors among non-Russian Intellectuals in Russia*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Shnirelman V.A. (2006) A Revolt of Social Memory. The Chechens and Ingush against the Soviet Historians. *Reconstruction and Interaction of Slave Eurasia and Its Neighboring Worlds* (eds. Osamu I., Tomohiko U.), Hokkaido: Hokkaido University, pp. 273–307.
- Shnirelman V.A. (2009) Stigmatized by History or by Historians? *History & Memory*, vol. 21, no 2, pp. 110–149. DOI: 10.2979/HIS.2009.21.2.110
- Shnirelman V.A. (2009) Identity and Politics of Post-Soviet Memory. *The Political Conceptology*, no 2, pp. 209–230. Available at: <https://politconcept.sfedu.ru/2009.2/10.pdf>, accessed 04.05.2022 (in Russian).
- Shtepa K. (1962) The “Lesser Evil” Formula. *Rewriting Russian History. Soviet Interpretations of Russia’s Past* (ed. Black C.E.), New York: Vintage Books, pp. 107–122.
- Slezkine Yu. (2008) *Arctic Mirrors. Russia and the Small Peoples of the North*, Moscow: NLO (in Russian).
- Soysal Y., Szaracs S. (2010) Reconceptualizing the Republic: Diversity and Education in France, 1945–2008. *Journal of Interdisciplinary History*, vol. 41, no 1, pp. 97–115. DOI: 10.1162/jinh.2010.41.1.97
- Stepan A., Linz J. (2011) *Crafting State-Nations: India and Other Multinational Democracies*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Suny R. (2007) The Empire as It Is: The Imperial Period in Russian History, “National” Identity, and Theories of Empire. *Nationalism in World History* (eds. Tishkov V., Shnirelman V.), Moscow: Nauka, pp. 36–81 (in Russian).
- Tikhonov V.V. (2013) “One Could Sense Objectivism Here...”: The Creation of the “Essays on the History of Bashkortostan”. *Dialogue with Time*, no 45, pp. 160–168 (in Russian).
- Tomlinson S. (2015) Fundamental British Values. *The Runnymede School Report. Race, Education and Inequality in Contemporary Britain* (eds. Alexander C., Weekes-Bernard D., Arday J.), London: Runnymede Trust, pp. 10–14.
- Trepavlov V.V. (2007) The “Voluntary Incorporation into the Russian Empire”: Jubilating Anniversaries and Historical Reality. *Questions of History*, no 11, pp. 155–163. Available at: https://library.by/portalus/modules/politics/readme.php?subaction=showfull&id=1610627040&archive=&start_from=&ucat=&, accessed 04.05.2022 (in Russian).
- Urushadze A.T. (2018) Remember-Can’t-Be Forgotten: Caucasian War in the Historical Memory of Adygs and in the Russian Space of Commemoration. *Political Science*, no 3, pp. 106–128 (in Russian). DOI: 10.31249/poln/2018.03.06
- Vakhtin N., Firsov B. (eds.) (2016) *Public Debate in Russia. Matters of (Dis)order*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Verzhbickij V.G. (1951) *The Great Russian People is an Outstanding Nation*, Moscow: Pravda (in Russian).
- Vilkov A.A. (2011) The Ideological Factor in the formation of Russian Political Identity. *Identity as a Subject of Political Analysis. Collected Papers of All-Russian Academic Conference in the Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy of Sciences* (eds. Semenenko I., Fateeva L.), Moscow: IMEMO RAN, pp. 157–162 (in Russian).
- Vyazemsky E.E. (2012) The Ethno-regional Component of General History Education in the Russian Federation: Approaches to Discussion. *Problems of Modern Education*, no 4, pp. 21–40. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-regionalnyy-komponent-obshego-istoricheskogo-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federatsii-diskussionnye-podhody>, accessed 04.05.2022 (in Russian).